

Виктор Концевский: “Писателей моего поколения уже не покупают”

ОТПРАВЛЯЯСЬ на встречу с Концевским, я сокрушалась, что слишком его люблю. Конфликта не получится. Однако, как убедит читателя, за конфликтами дело не стало. Да и мои любовные заверения не нашли у Виктора Викторовича ответного энтузиазма.

- ПОХОЖЕЕ признание я недавно получил из тюрьмы, от одной бабы. Убила мужа - капитан-лейтенанта. Дали восемь лет - пять отсидела, три осталось. И вот она пишет из своей тюрьмы под Псковом, что прячет в подушку на нарах мою книжку, которую у нее требует назал библиотека. Если не вышло такую же, покочнит с собой. Пришлось послать. Моя жена слудру хотела написать обратный адрес. Что было бы очень недальновидно. Кстати, из тех десятков тысяч писем, что я получил за жизнь, добрая половина - от сумасшедших и от одиноких женщин.

- Чего они хотели?
- Общения, дорогая моя. Общения. Из какого-нибудь медвежьего угла типа Урюпинска пишет женщина - чтобы в жизни хоть ниточка появилась, хоть подобие цели. Вот тогда я узнал, что такое женское одиночество и сколько его в нашей великой стране.

- Будто мужское одиночества меньше.
- Видите ли, мужики на эту тему не распространяются. Они сообщают, что прочитали, о чем подумали. И никогда не рассказывают, одиноко им или нет. Даже сумасшедшие.

- И все же многие из них любят повторять вслед за классиком: “Одиночество - демоническая сила”.

- Об одиночестве я у Антона Павловича другую фразу знаю, из записных книжек: как я всю жизнь был одинок, так и в могиле буду лежать один. Заметьте любопытную вещь - люди с большим чувством юмора где-то ко второй половине жизни начинают его утрачивать. Даже такие великие юмористы, как Михаил Михайлович Зощенко или Бернард Шоу, у которого, в отличие от Зощенко, не было страшной биографии. У Чехова в записных книжках последнего года жизни я нашел единственную запись с юмористическим подтекстом: “Чем глупее извозчик, тем лучше его понимает лошадь”. Но сколько же грусти за этим юмором.

- Вам сейчас случается повеселиться, потрещать с друзьями или разговоры сводятся к тому, как все вокруг поганое?
- Ну вот я только что вернулся из Москвы, где встречался с Гией Даниелия. Это мой старый, любимый друг, ему на днях исполнилось 66 лет. Несмотря на все свои дни рождения, Гия сначала был грустный, а потом мы стали вспоминать, как писали “Путь к причалу”, как писали “Тридцать три”, - и часа два хохотали как зарезанные, чуть под стол не свалились.

Сценарий “Тридцать три” мы начинали писать - в компании с Юрием Казаковым, Валентином Ежовым и Васей Аксено-

вым. Самый смех был в том, что собрались совершенно несоединимые люди: Аксенов, с которым я сейчас в крайне напряженных отношениях, Юрий Казаков, ни разу в жизни не писавший сценариев.

Юре всегда блестяще удавался пейзаж. Естественно, и в сценарии его повело на описание красот природы. Гия Даниелия говорит: Юра, не надо пейзажа, у меня оператор есть, он снимет. Ты просто пометь: “рассвет”, чтобы я знал, что надо заказывать режимную съемку. Юра соглашается и начинает по новой: от травы пахло росой. Гия опять ему объясняет: Юра, гидрит твою перекинь марганец - только настоящими словами, - пойми, в кино запахах нет!.. У Юры были слабые глаза и слух неважный, зато обострилось обоняние - отсюда такая повышенная чувствительность к запахам, что у прозаиков редкость. Вот краски хороший прозаик видит отлично. Впрочем, это пустой разговор. Писателей моего поколения уже не покупают. Ни плохих, ни хороших.

- Вас не утешает сознание, что все это временно?

- Но мы-то не бессмертны. Откладываем копыта один за другим. Едрена вошь, я тяжело больной человек. Могу пройти минимум пятьсот метров. Перенес кучу тяжелых операций. Все неудачные. Еще в 84-м году у меня был первый инфаркт, после которого я плавал пять лет. Капитаном.

- В самом деле?
- Ну что я, вру или кокетничаю?! Какого хрена вы спрашиваете ерунду?

- Небось на Даниелия так не кричали?

- Так же я ору на всех, когда они говорят глупости. Только что обложил матом министра культуры Женю Сидорова. “Женька, твою мать, скорей до министра финансов дозвонись, чем до тебя” - с этого у нас завязался разговор по вертушке из кабинета заместителя главного редактора “Комсомольской правды”.

- А может, вы просто пижонили перед редакционной публикой?

- Почему пижонил? Хороший был литературный критик Женька Сидоров, писал предисловия к моим книгам. Для меня он был и есть Женька. Ну и все. Я его матом и послал - к удовольствию руководства комсомольской газеты. Он тогда целый вечер меня прождал, чтобы вместе выпить. А я засиделся у Гии Даниелия, потом извинился перед Женькой и уехал.

- С Солженицыным вы тоже на короткой ноге?

- Скорее на эпистолярной. Перед четвертым съездом писателей он мне (да и многим)

прислал письмо о том, как его душат, убивают и прочая. Я спросил у матери: что делать, мать? Она говорит: зачем ты у меня спрашиваешь, или и пиши. Я написал довольно резкое письмо о цензурном произволе в нашей литературе и стал ждать, когда меня посадят. Не дождавись, ушел в море. Знаю, что письмо передал в президиум Александр Боршаговский (кстати, тоже сильно рисковал).

Позже я получил благодарственное письмо от Александра Исаича, где он попросил меня прислать ему книгу. И еще кетливо так написал: “Простите, свою я вам прислать не могу, потому что у меня ни одной отдельной книги не вышло”. Я отправил ему “Кто смотрит на облака”, на что он ответил огромным письмом. Очень интересным, бескомпромиссным, с подробным критическим разбором. Где-то похвалил, а где-то жестко приложил. Потом пошел еще письма, в которых он пытался отвести меня от моря. Мол, тема морская и авиационная всегда использовалась Сталиным для отвлечения народного внимания от внутренних проблем, чему примеров тьма: показушные истории папанинцев, челюскинцев, перелеты через полюс. Это, конечно, Александр Исаич правильно заметил, но только я ни в коем случае не собирался отказываться от морской темы. Наконец в очередном письме он сдался: “Ну исполтай! Пишите про свое море”.

А вообще я на него в претензии нахожусь. После всей этой истории с четвертым съездом, когда Солженицын уже эмигрировал, приходим в Лондон. Я был вторым помощником. Отправился на берег, со мной - капитан и помполит. Там рядом с Британским музеем магазин русской книги. Заходим. Смотрю - собрание сочинений Солженицына. Мне же интересно, беру том. Открываю - японский бог! - первое, что вижу, - мое письмо к четвертому съезду. А я-то его посылал для закрытого употребления.

- То есть он вас подставил.

- Самая настоящая подставка! Разве Александр Исаич не понимал, что у нас здесь перья полетят? Виктор Соснора замечательное письмо написал в его защиту, Жора Владимиров, я помню, тоже здорово заступился. Каверин довольно смело поддержал его - и все наши письма он взял и тиснул в своем собрании. А мне через плечо смотрят капитан с помполитом. Понимаете, что это значит, нет? Встречное судно, на него пересаживают - и поехал в Питер. Вот и все твои заграничания.

- Обобщилось?

- Не наступали - ни тот, ни другой. Правда, КГБ и так было в курсе. Как-то Битова взял за шугундер (он мне сам рассказывал), Андрей и говорит: что вы ко мне прицепились, вон Концевский тоже всюю чего-то выкаст! А генерал какой-то ему

сказал: “На черта нам Концевский, мы его как облущенного знаем. Языком молотит, но никогда в жизни не убежит”. Выходит, они меня действительно знали.

Ну а что касается Александра Исаича с его публикациями, думаю, у него тогда aberrация произошла. Просто забыл в Вермонте, что такое жить здесь. Говорят, узнав, что в Пушкинском доме хранится наша переписка, он был чрезвычайно доволен. В старости писателю особо ценны такие вещи. Я ведь тоже сейчас ездит в ЦГАЛИ для своей автобиографической книжки и, читая старые письма, вспомнил все: обстановку того времени, детали, разговоры.

- Интересно, что в компании “пятидесятников”, поддерживавших Солженицына, оказался и многоопытный Каверин.

- Вениамин Александрович был человеком сложным, но способным на порыв. Его последнее, предсмертное письмо ко мне начинается так (цитирую почти дословно): “Я знаю, что люблю вас больше, чем вы меня. Это, вероятно, из-за того, что я до старости люблю Виктора Гюго, а вы, наверное, уже давно перестали его любить”.

Очень любил он и моряков, чуть ли не по-детски восхищался ими. Помню, пришел я к нему с похмелья и говорю: “Вениамин Александрович, дайте выпить”. Он растерялся: “Да у меня ничего нету в доме... Вот только компрессы мне ставили от радикулита. На спирту”. - “Годится! Давайте его сюда”. Разбил и выпил. А он, проследив за этим делом, сказал: “Вы, моряки, все-таки очень странные люди”.

А как раз в эту нашу встречу Каверину заявился Женька Евтушенко. Только что посмотрел какую-то пьесу про Пушкина, и она ему безумно не понравилась. И вот Женька выдает монолог о том, что так писать о Пушкине - кощунство, Пушкин погиб в этой пьесе, и он разорвет ее автора в клочья. Отостит за поэта. Бегает по комнате в величайшем возбуждении, а Вениамин Александрович сидит интеллигентно, смотрит на него, слушает, слушает. И наконец говорит: “Женька, не переживайте вы так за Александра Сергеевича. С него не убудет”. Я просто покочился.

- В одном из писем Солженицыну вы заметили: “Когда мое поколение начинало писать в середине 50-х годов, все порядочные люди держались друг друга и дружили”. Что вас обвешивало - ремесло, фрондерство?

- Зачем мне фрондировать? Это была дружба. Дружба, ядрена вошь! Если я пишу - значит, отвечаю за свои слова.

- Хорошо, тогда что сейчас вас раздражает?
- Ну, Женька совершенно измывал. Его самовлюбленность, бахвальство и прочая перешли всякие границы. Хвастун он безумный, страшно любит во-



Он по-прежнему смотрит на облака. Но в этом занятии у него появился дополнительный стимул

рваться с Тито, пока тот жив. Потому что в Женькином кабинете, куда ни плюнь, висели фотографии: Женька с Джоном Кеннеди, с Робертом Кеннеди. С Брижит Бардо. Сверху донизу все было в портретах, где он с кем-нибудь. Не хватало только Тито.

Но убежден - позвони я ему сейчас и скажи: Женька, мне совсем плохо! - прилетит. Даже сегодня вылетит. И что Белла примчится - ни капли не сомневаюсь.

- А Василий Аксенов?

- Нет-нет.
- Не позвоните ему?
- Мы настоящие враги! Без всяких дураков. А враг есть враг. Я ему дам по морде, если встречу, он мне даст по морде. Так что нам лучше не пересекаться. Да я сам слышал, как он заорал по “Голосу Америки”: “Мы, новые американцы!”. Все. После этого его для меня не существует.

За Булата очень боюсь. Хотя последние сведения немного обнадеживают. Вроде у него сейчас стабильное состояние. А ведь Булат, когда женился на ленинградке, два года жил в Питере, бывал и у меня. Пел здесь. Кстати, Гийка вчера на- помнил безумно смешную штуку, сейчас расскажу.

У меня полное отсутствие слуха. Абсолютное. Если я захожу вас рассмешить, мне достаточно запеть “Раскинулось море широко” - и вы будете ползать по полу, думая, что я вас дурачу. Нормальному человеку не представлять, что можно так изобразить мелодию.

- Спойте.
- “Раскинулось море широко...”
- Все-все.

- Ну вот. Это мне совершенно не трудно. Запою - и все лежат под столом, восторгаясь, какой я бы натискал прямым текстом: пошел к едрене матери!”
- Не было жалко?
- Мне - нет?! Детину, который

плавали в Арктику и писали сценарий “Путь к причалу”, живя в одной каюте и все время пел. Особенно по утрам, умывался или шел перед вахтой. И только “Последний троллейбус” Окуджава. Наконец Гийка мне говорит: “Слушай, если ты не прекратишь петь, я ити за борт прыгну, или не буду картину снимать”. Пришлось заткнуться. Прошло время, мы сидим в Москве, в какой-то компании, все уже сильно выпивши. Завылается хмырь - невидный, тщедушный - берет гитару и затягивает “Тридцать три”. Витка как-то кричит: “Брось гитару, дурак, твою мать, я эту песню слышать не могу, убью тебя сейчас!” Оказалось, это был Булат. Такие дела, дорогая моя.

- Такие, Виктор Викторович. И сколько бы мрачности вы на себя ни напускали, все равно видно, что вы человек замечательно романтического склада.

- Романтиком я себя никогда не назову, а мрачный - наверно, от возраста. Скорее грустный, чем мрачный.

- Если вам принесет рукопись молодой автор, вы станете подбирать деликатные выражения или скажете именно то, что думаете?
- Конечно. Недавно я давал рекомендацию в Союз писателей одному парню и прямо с порога ему сказал: “Во-первых, вы хам, потому что опоздали почти на час. А во-вторых, вы хам и в своей рукописи (он там чересчур насчет флота процеди, и мату полным-полно, хотя штуку написал талантливую и знает материал). И потому в квартиру вас не пушу. Забирайте рекомендацию, в ней я написал деликатно: иногда бортом черпает воду”. А если бы мне пришлось сочинять рецензию, я бы написал прямым текстом: пошел к едрене матери!”

- Не было жалко?
- Мне - нет?! Детину, который

в двери не войдет! Ему чуть за тридцать, здоровенный том написал - чего его жалеть?

- Он шел от вас и плакал.
- Он матом меня наверняка покрыл - и попер, положив в карман рекомендацию. Это же современный литератор.

Меня раздражает сегодняшняя проза, потому что за ней я не вижу того света, который за Чеховым, за Лесковым. От этих людей шло духовное очищение. Буквально физически я чувствовал, как моя грязная душа отмывается после общения с ними. А от современной молодой литературы - зажигаюсь.

Дело даже не в том, что я не употребляю матерных слов, если пишу. Хотя в живни - вы видите - ругаюсь, как боцман. Но без этого, кстати, на флоте невозможно. Если я матросу просто скажу: положите конец на кнехт, - он ничего не поймет и устанет на меня, окаменеет. А если рявкну: мать-перемать, швырни швартов! - мгновенно все слелает. Но я никогда в жизни на бумаге этого не напишу. Потому что русская проза должна быть русской прозой. С внутренним ритмом, пейзажем, которым я создаю настроение и которую читателя в то состояние, какое мне нужно. Отсюда - необходимость владения языком и так далее. А сегодняшние русский язык могут вообще выкинуть за борт и писать хоть на английском.

- Вы обычно долго работаете над рукописью?

- Раньше переписывал раз по двенадцать, теперь - пять-шесть раз. По-другому нельзя, потому что иначе будет халтура и дерьмо собачье. Для меня самое страшное, самое тяжелое - покрыть бумагу. Первый черновик. А дальше править и переделывать - это полгеч. Сегодня придет редактор за рукописью, а мне в ней уже все не нравится, я бы ее с удовольствием перелопатил.

Правда, иногда чувствуешь, что надо остановиться, иначе замучишь себя. Это тоже необходимо уметь - сказать: все, больше не трогай, а то напортишь.

Помню, однажды на занятии в лито нам сказали: напишите за час рассказ на тему “Первая любовь” или “Пуговица”. Витка Голякин, сволочь, уложился в полчаса и заработал первое место. Потрясающую штуку написал, даже в пересказе по памяти.

У него был дядя, который давно умер. Портрет этого дяди висел на видном месте дома. И каждый раз, когда Витка хулиганил, мама показывала на портрет и говорила: вспомни своего дядю. Он никогда не ездил на трамвайной колбасе, вообще он и то, и другое, и третье. А кончается рассказ так. Я слушал, что говорила мама. Но про дядю помнил единственное: у него на пальце все пуговицы были черные, а одна - почему-то белая кальсон.

За этой пуговицей - сразу видишь человека. Какой он одинокий, раз так ее пришил. Мне этого дядю почему-то уже жалко, моментально идет цепочка ассоциаций. А всего-то - крохотный рассказик.

- Ты должен просто рассказывать только то, что знают немногие, а ты видел”, - писали вы в 80-х. С тех пор ваше понимание долга и смысла в работе не изменилось?

- К нему даже добавился новый стимул. Пенсия в 395 тысяч рублей.

- Всего? Не может быть!
- Да ну вас на фиг! Я же сто раз сказал, что не вру и не кокетничаю. Нет, все-таки бабы - не люди.

С гостем встречалась

Елена ЕВГРАФОВА

Фото Александра

НИКОЛАЕВА